



Н.А. Келин

## Детство. отрывок из романа "Казачья исповедь" (часть 1)

Детство мое было безоблачным. Приспело время - бабка повела меня в двухклассную станичную школу и посадила куда-то во втором или третьем ряду. Ввиду того, что отец, как я сказал выше, был совершенно безличным в семье, то нас в станице называли по деду Кузнецовыми. И вот, помню, в класс входит учитель Ефим Игнатьевич Фролов, фигурой напоминающий классического Санчо Панса, с лицом красным, как помидор, и слезящимися, заплавленными глазами. Открыв классный журнал, начинает переключку:

- Астахов.
- Тут!
- Не тут, а надо говорить: "я", - бубнит, слюнявя пальцы, Ефим Игнатьевич.
- Черячукин.
- Я! - шустро откликается бойкий мальчишка.
- Келин.

И, о ужас, я сижу как пришитый к скамье, и во мне холодеет сердце: "Ну, какой же я Келин? Ведь я Кузнецов!.." А учитель снова:

- Келин! Встать!

Я окончателью снижаю и лезу под парту, откуда меня с большим трудом, ревушего благим матом, извлекают и отсылают домой. Придя домой, я категорически отказываюсь от школы. Все улаживает дед: после разговора с Ефимом Игнатьевичем меня уже называют Кузнецовым.

Шел 1908 год. По окончании трех классов начального училища в Клетской я сдал экзамен в Усть-Медведицкое реальное имени атамана графа Платова училище, единственное в округе среднее учебное заведение для мальчиков. Дело в том, что бывший у нас наказным атаманом князь Святополк-Мирский приказал закрыть все классические гимназии во всей Донской области. Именитый "просветитель" будто бы заявил: "Казакам нужны пики и шашки, а не классические гимназии". И область осталась только с реальными училищами, да и то в огромной Усть-Медведицкой станице реальное училище было, кажется, открыто только после революции 1905 года. Я в него попал в 1908 году. Узнав, что я сдал экзамен в реальное, дед категорически заявил:

- Бабка! Не хочу, чтобы мой внук в таком важном деле, как ученье, по чужим квартирам болтался! - И, подумав, добавил: - Завтра же едем в Усть-Медведицу курень покупать.

И действительно, на второй же день дед запряг иноходца в тарантас - мы всегда держали лошадь, - посадил бабку и меня, и мы двинулись в окружную станицу, которая раскинулась, утопая в садах, на правом, крутом берегу Дона под Пирамидами, поросшими цепкими тернами и боярышником. Клетская в сорока верстах от Усть-Медведицы. Едем хутором Подниженским, присевшим у мелового кряжа, втягиваемся в бесконечную степь: слева маячит старинный голубец, где на Пасху всегда кладут крашеные яички для путников, на помин души - копейки, пятаки; справа - вишневые сады, куда мы нередко ездим варить душистое вишневое варенье. Потом идет широко разбросанная под горой пыльная станица Распопинская. Тут всегда пьем чай у почтаря, старого друга деда, Николая Ивановича Щучкина, казачины грузного и веселого, с бульбовскими усами, кормим лошадь и через хутор Бобровский делаем последний перегон к Усть-Медведице. Бегут телеграфные столбы, где-то знаменитый Гетманский шлях теряется в мареве синих, дрожащих далей, и вот мы въезжаем на Пирамиды. Пирамиды - это один из отрогов Донецкого кряжа, венчающий спуск к станице. Отсюда открывается незабываемый вид на Задонье с его бесконечной поймой и займищем. Под Пирамидами над самым Доном золотится купол Преображенского собора женского монастыря, окруженный россыпью спрятанных келий. Туда по праздникам мы будем бегать за просфорками к матушке Афанасии, просвирне и дальней родственнице бабки. А из Задонья смотрят на тебя бесчисленные голубые окна озер, бисерные островки казачьих хуторов с чуть видимыми дымками. Начинается крутой спуск на главную улицу станицы - Воскресенскую, где в центре доживает свой век отставной полковник, отец нашего земского врача Николая Дмитриевича Егорова. Оказывается, это дед узнал, что тот хотел бы продать в Усть-Медведице дом рядом с реальным училищем.

Николай Дмитриевич был типичным русским интеллигентом, очень похожим на Чехова. Мы знали, что он не переносил ни вида крови, ни боли пациента. И вот, когда фельдшер рвал какому-нибудь дюжему атаману зуб, а тот орал благим матом, с порожек больницы кубарем слетал земский врач и стоял у противоположного забора, зажмурившись и туго заткнув уши. Нам, мальчишкам, это страшно нравилось, и, бывало, целыми днями, особенно в базарные дни, когда в станицу съезжалась масса казаков с соседних хуторов и больница была полна пациентами, мы торчали у забора и ждали, как Николай Дмитриевич скатится по порожкам с заткнутыми ушами и с застывшим ужасом на своем "чеховском" лице. Так вот, к отцу этого эскулапа мы и ехали.

Встретил нас сухонький, малюсенький старичок в военном мундире без погон и, колюче глядя на деда,



бросил:

- Чем могу служить, почтенный?

Дед, стоя навытяжку, объяснил цель нашего визита. Сели. О чем-то долго разговаривали. Меня это не интересовало. Потом дед осмотрел зорко и подробно старенький домишко, стоящий где-то в глубине двора в углу, и договорились на трех тысячах.

- Так плати! - обратился дед к бабке. Бабушка высыпала на стол из ридикуля три тысячи рублей - все в золотых монетах. Империялы и полуимпериялы покатались по скатерти стола. Бабка суматошно, закруглив руки, сгребла всю эту сверкающую кучу и придвинула ее к полковнику. Хозяина будто кто-то шилом пихнул под бок. Он весь ошетинился, подскочил на стуле и сухонькой ручкой отшвырнул от себя кучу золота.

- Если бы знал, что будете расплачиваться этими черепками - не продал бы вам дома, почтенный!

Дед опешил, а бабка поспешно начала сморкаться. Оказалось, что старый чудака хотел получить плату в бумажных деньгах, объяснив, что их удобнее хранить. Дед засуетился, сгреб деньги и отправился в казначейство обменять звонкую монету на бумажки. Покупка была завершена.

- Ты, Химушка, - так звал дед бабу - переедешь в Усть-Медведицу. В половину дома возьмем твою сестру Лизавету. Им все равно надо где-то жить. Яков говорил, что она тут с ребятами жить будет, чтобы было подешевле. С них ничего не возьмем, а с ихними ребятами и нашим веселее будет. Идут казаки в гору: гляди, с каких дальних хуторов учиться едут...

Дед, осмотрев еще раз двор, решил, что построит здесь новый жилой дом, так как следом за мною в гимназию должны были поступить мои сестры.

- Жалко, что поздно спохватился. Место-то какое... Буду строить тут гимназию. Не мои внуки, так чужие казачьи дети станут в люди выходить. Казакам не одними лампасами свет смешить!

Удивительный был человек мой дед. Я за свою долгую жизнь никогда не встречал человека, который бы так ценил интеллект и печатное слово. Бывало, принесет смятую, брошенную кем-нибудь бумажку, бережно ее расправит и говорит:

- Посмотри, может быть, что-нибудь ценное в ней написано. А? Печатное и писаное слово беречь надо. На бумажке-то, может, ценные мысли? - И дед не успокаивался, пока бумажка не была разглажена и прочитана.

А гимназию он действительно лет через 5-6 построил. Получилось великолепное здание на главной улице, где, кажется, в 1913 году и была открыта классическая гимназия. Здание это выгорело во время гражданской войны, а в 1957 году в нижнем этаже его я видел какой-то летний кинематограф...

## Детство.

### отрывок из романа "Казачья исповедь"

#### (часть 2)

Сакраментальное слово У.М.Р.У. было выгравировано на щегольских бляхах поясных ремней реалистов. Это покоряло гимназисток и создавало какой-то ореол вокруг нас, вызывая лютую зависть у учеников Духовного и Ремесленного училищ. А означало оно всего-навсего: Усть-Медведицкое Реальное Училище. Форма была щегольская, полувоенная. Черная гимнастерка с орляными пуговицами, традиционный ремень с сакраментальной бляхой, темно-синие штаны с широкими красными лампасами. Помню, когда мы с дедом, бывая в Питере, проезжали на извозчике по улицам, взбудораженные юнкера, заметив красную лампасину, инстинктивно взбрасывали руку к козырьку - отдавали честь, но, заметив, что попали впросак, чертыхались и проходили мимо. Пальто реалиста было из офицерского сукна с красными петлицами. Фуражка - с темно-синим верхом, красным околышем, и все окантовано желтым кантом. Вообще форма нам, мальчишкам, очень импонировала. Так что в 1908 году в училище был такой наплыв учеников, что не хватило мест, и тогда директор Рафаил Николаевич Семецкий предложил родителям вкладчину пристроить в актовом зале перегородку, где бы разместился так называемый параллельный класс. Так и сделали. Я попал в основной, чем почему-то очень гордился. Великолепное здание училища стоит до сих пор. Там сейчас десятилетка. Построено оно было, кажется, в половине девятнадцатого столетия, а станица в годы Советской власти переименована в город Серафимович. Это здесь родился и проводил свою молодость известный советский писатель, друг Ленина, Александр Серафимович Попов (псевдоним - Серафимович), тут же жили донские писатели, теперь незаслуженно забытые, Роман Кумов и Федор Крюков.

Состав преподавателей нашего училища был хороший. Директор - сухой, немного сгорбленный старичок Р.Н. Семецкий, очень похожий на Шаляпина в гриме Дон Кихота, только ростом поменьше. Заядлый шахматист, он преподавал математику. Меня Рафаил Николаевич любил и называл Коляшей. Колоритной фигурой в училище был инспектор Сергей Александрович Афанасьев - огромный, сутулый

хохол, люто страдающий ревматизмом; ходил он, морщась от боли, с палкой; на всю чертовщину, которая творилась в нашей казачьей бурсе, смотрел мрачно, но это был человек золотой души. Мы, кстати, только его и боялись. Он говорил вместо "что" - "шо", и ученики звали его за глаза Серегой. Но самой интересной личностью у нас был мой классный наставник Борис Николаевич Малюга, неоднократно описанный писателем Ф.Д. Крюковым в журнале "Русское Богатство". Оглядываясь назад, имея большой врачебный опыт, я теперь убеждаюсь, что это была глубоко трагикомическая фигура, тяжелый психоневротик, вероятно в молодости или в студенческие годы переживший какую-то политическую коллизию, может быть, он даже побывал в крепких лапах царской жандармерии или охраны. Человек лет сорока, среднего роста, однорукий, лицом он чем-то напоминал молодого Столыпина. Левый рукав его всегда испачканного мелом вицмундира болтался в воздухе. Лицо бледное с фанатическими глазами и большой бородавкой около носа, которую он бесперывно рвал ногтями. Но больше всего в нашем наставнике поражал его блуждающий взгляд, никогда в отдельности ни на ком не останавливающийся. Это был лютый, неистребимый монархист, буквально с патологическим уклоном. И вот именно на этой-то почве в классах, где он преподавал, разыгрывались ежедневные сцены. На его уроках поэтому обязательно присутствовали или директор, или мрачный инспектор Серега - чтобы водворить сугубый порядок.

В нашем классе с первых же дней вышли на первый план три коновода. Мордастый, похожий на Чингисхана, второгодник Федька Малахов, всех безапелляционно под себя подмявший мальчишка с могучими мускулами, и поджарый, желчный Пашка Сенюткин, почему-то невлюбивший меня с первого взгляда и наводивший до самой своей смерти на меня панический ужас. Он утонул на Пасху в Дону. Кроме этих двух был еще Семка Гаврилов, тоже второгодник, белесый дылда. Он, кажется, дошел со мною до выпуска в 1915 году. Так вот, эта тройка верховодила в нашем классе и, помню, какой-то лютой ненавистью ненавидела Малюгу. Борис Николаевич, как все очень нервные люди, был экспансивен и быстр в движениях. На стул за кафедрой садился как-то рывком, с разбегу. Эту особенность посадки классного наставника учел, кажется, Пашка Сенюткин и прикрепил в сиденье кресла стальное перо острием вверх. Показывая классу кулак, мрачно сказал:

- Убью, если кто скажет, кто это сделал!

И вот урок. Влетевший в класс Малюга с размаху брякнулся на стул и вопя благим матом сорвался с места:

- Разбойники! Тачки вам возить, каторжникам! На крик в класс явился директор. Опросил весь класс. Сенюткин не был выдан, за что мы всем классом отсидели чуть ли не неделю без обеда.

Я был примерным учеником, помня завет деда. Малюга меня любил. Но скоро пришло время, когда наш историк и меня возненавидел. А случилось это так. Малюга каллиграфически писал, и его записи в журнале всегда были образцовы. Особенно красиво он ставил жирные единицы - колы, как у нас говорили. И вот однажды перо, которое лежало на учительском столе, сломали и решили, чтобы никто своего пера для записи в журнал Малюге не давал. Даст Малахов. Так и было. Пришел Малюга. Смотрит - пера нет. Просит у одного, другого, третьего. Нет. Говорят, что забыли. Тогда с "Камчатки" встает Малахов и несет Малюге полено, в которое вставлено перо.

- Это что?

- Перо с ручкой, Борис Николаевич. Я так привык писать, - говорит Малахов. Малюга ставит ему кол за поведение и убегает за инспектором. Через некоторое время, крихтя от боли, в класс вваливается Серега, отчитывает нас и садится на мою парту рядом со мной. Класс замирает. Почему-то у меня в кармане оказался стручок красного, острого перца, без которого дед никогда не ел борща. Наверное, для него я и сорвал тот перец на огороде. Вставив в ручку новое перо, я, любуясь им, несколько раз погрузил его в этот ядовитый, страшно щиплющий стручок, и в желобке пера осталась ядовитая мякоть стручка. Вдруг Малюга, глядя на меня, говорит:

- Келин, дайте перо!

Я, как .ни в чем не бывало, подаю, он, сладко щурясь, шепчет:

- Новенькое...

И вдруг, прежде чем обмакнуть перо в чернильницу, он лизнул его. Что потом было - трудно описать!.. Малюга взвыл, выпучил глаза и начал отчаянно отплеиваться, стараясь избавиться от ядовитой слюны.

- Мерзавец... отравил! - ревел Малюга. Удивленный инспектор, сидящий рядом со мной, недоумевающе, но грозно спросил тогда:

- Шо такое стало?

Я принялся объяснять, мол, играя с пером, вымазал его стручковым перцем и никак не знал, что Борис Николаевич будет лизать перо. Серега укоризненно посмотрел на Малюгу и пробурчал:

- А вы, Борис Николаевич, всякую пакость не лижите! - и вышел из класса. Через минуту вылетел и я. Так Малюга невлюбил меня, а я его почему-то всегда жалел.

Но был в темном царстве нашей казачьей бурсы и светлый луч. Как-то в училище появился молодой, высокий преподаватель естественной истории Василий Васильевич Костылев. Этот восторженный человек, казалось, без остатка вбирающий всего вас в свою добрую душу, пробыл у нас не более полутора лет, а потом внезапно и бесследно исчез. Поговаривали, что он был политически неблагонадежным, поэтому начальство нигде его долго не задерживало. Василий Васильевич откуда-то из Москвы выписал для нас новый учебник по естественной истории, который заменил нам старый неинтересный, утвержденных



Министерством народного просвещения. Как сейчас, помню вкладку на меловой бумаге, где был изображен розовый тюльпан во всех стадиях своего развития. Костылев сумел заинтересовать нас опытами в физическом кабинете, его всегда с нетерпением ждали и любили как доброго старшего товарища.

А самым любимым моим учителем был милейший Сергей Александрович Пинус, преподаватель русского языка. С первого до седьмого класса Сергей Александрович вел меня и держал надо мною охранную руку, может быть, именно он помог мне получить отличный аттестат зрелости, открывший двери во все учебные заведения России. Человек небольшого роста, совершенно лысый, с продолговатым, задумчивым лицом философа и небольшой рыжеватой бородкой, втихомолку он выпивал и страстно увлекался поэзией. Были даже одна или две книжки с переводами Сергея Александровича с древнегреческих классиков. Этот человек помог мне на всю жизнь полюбить русскую литературу, а на выпускных экзаменах буквально спас меня от провала по математике. Но об этом чуть позже. Прежде расскажу о преподавателе математики.

## Детство.

### отрывок из романа "Казачья исповедь" (часть 3)

Иосиф Яковлевич Герштейн, еврей по национальности, был моим заклятым врагом, последовательным и упорным. Не знаю, как этот человек попал к нам в область Войска Донского, куда из-за черты оседлости въезд евреям был запрещен. Впрочем, евреи, получившие высшее образование, из этого правила исключались. Как вот, этот крепко сбитый, с чудесными карими, всегда насмешливыми глазами, необыкновенно аккуратный человек инстинктивно и люто невзлюбил меня. Вероятно, он чувствовал, что я терпеть не могу математику. А мы в реальном проходили уже интегральные и дифференциальные исчисления, анализ бесконечно малых величин. Училище-то главным образом готовило кадры в высшие технические учебные заведения. И вот Герштейн решил меня переделать. Помню, входя в класс, он отрывисто бросал:

- Келин! К доске! - И, подумав, добавлял: - Плести лапти... о Я сокрушенно и не спеша выходил из-за парты и неверными шагами шел к страшной доске. Давал математик самые обыкновенные задачи или теоремы для доказательства, но я потел, нервно ломал мел, беспомощно косился на класс, откуда слышались подсказки друзей. А тут Иосиф Яковлевич, улыбаясь и не повышая голоса, обычно говорил:

- Садитесь, Келин! Это сон пегой кобылы, а не доказательство теоремы.

Но самый главный удар по мне Герштейн оставил на конец, на священный день, когда мы сдавали экзамен на аттестат зрелости. Герштейн знал, что мне, одному из первых учеников по всем предметам, усиленно помогает по математике целый класс, и особенно математики, которые терпеть не могли науки гуманитарные и которым я часто писал сочинения по русскому языку. Они плотным кольцом всегда сидели вокруг меня в критические моменты контрольных работ по математике. То же самое было решено проделать и на выпускном экзамене на аттестат зрелости. Помню большой класс около актового зала. Садимся. Я посередине, а вокруг лучшие математики класса. Значит, дело в шляпе. Но Герштейн оказался хитрее нас. Продиктовав задачи, он молча подошел ко мне, взял за руку и саркастически процедил:

- Келин, идите за мной. Возьмите бумагу и задачи! Холодея, я встаю и, как в тумане, иду за Герштейном. И куда бы, вы думаете, он привел меня? В актовый зал, где писали письменную работу по французскому языку ученики 5 класса!..

- Решайте, Келин, задачу. Решите - сдайте мне или комиссии, - сказал и ушел.

Я печально начал рисовать птичек на черновике, сразу же поняв, что задачи мне не решить. На экзаменах обычно между партами ходили так называемые ассистенты, следящие за порядком и за тем, чтобы ученики не списывали друг у друга. Обычно это были преподаватели училища. И вдруг - о чудо! - молча по проходу зала идет, заложив руки за спину, встревоженный Пинус, мой кумир, учитель русского языка. Проходя мимо, он на секунду останавливается и тихо спрашивает:

- Ну, как, не решите?

- Нет, Сергей Александрович, - безнадежно шепчу я и продолжаю рисовать птичек. Пинус молча уходит. Минут через двадцать Сергей Александрович появляется снова и молча кладет мне на парту решенную задачу. Спасен! Начинаю лихорадочно переписывать набело и не замечаю, как пропускаю одно действие. Обождав для приличия еще с полчаса, сдаю работу.

На второй день был перерыв между экзаменами. Пробегая по улице, встречаю Герштейна.

- Послушайте, Келин, - мило улыбаясь, говорит математик, - вы, кажется, творите чудеса...

- А в чем дело, Иосиф Яковлевич? - чувствуя подвох, спрашиваю я с недоумением.

- Скажите, пожалуйста, во-первых: как вы вообще решили задачу? - А потом, помолчав, как по голове обухом: - И почему у вас не хватает в решении задачи одного действия? Логика в работе нет, но задача решена правильно.

Мысли мои пронесаются молниями. Мне кажется, что вот Герштейн затянет сейчас меня в училище или домой и заставит повторить решение. Охватывает ужас - ведь я из-за нелюбви к математике даже не



попробовал осмыслить ту задачку. Если позовет - крышка.

- Вероятно, Иосиф Яковлевич, пропущенное действие я не переписал с черновика или промокалки... - Нахожусь я и невинно смотрю на Герштейна.

- Ну, вот, чтобы вы действие на промокалках не писали, я и поставил вам вместо пятерки четверку, - заключил Герштейн, ехидно улыбаясь, и пошел вниз по Воскресенской улице.

Через несколько дней предстоял устный экзамен по математике. Не сплю ночей, стараясь нагнать безвозвратно упущенное. На балконе для этого держу ведро с ледяной колодезной водой и, когда нестерпимо слипаются глаза, я окунаю голову в это ведро, чтобы согнать неотвязный сон. Помогает. Но однажды со мной и моим компаньоном, с которым вместе готовились к выпускным экзаменам, случилось следующее.

К нам в станицу из Варшавы приехал знатный польский шляхтич Вацлав Лигенза-Невьяровский - сдавать в нашем училище экзамены на аттестат зрелости. В Варшаве, как он говорил, этому мешали женщины. Врач училища, он же городской врач, Маркиан Иванович Алексеев, который в начале гражданской войны спас мне жизнь (об этом чуть позже), порекомендовал ему поселиться у нас и готовиться вместе. И вот этот изящный и потрясающе вежливый поляк расположился со мною в моей комнате. В одну из душных ночей, утомленные зубрежкой, мы уснули как убитые. Электричества в доме не было. Пользовались большой керосиновой лампой под белым абажуром. Проснувшись под утро, я смотрю на постель Вацлава и вижу, что там лежит негр! А Вацлав, открыв голубые глаза, протирает их и начинает бешено хохотать, глядя на меня. На столе догорает лампа. Из стеклянного цилиндра, как султан, вьется язык черной, дрожащей копоты...

Ну и досталось же нам потом от нашей добрейшей бабушки Евфимии Борисовны. Но при экзаменах все прошло. На математику, кажется последний, я явился в полном вооружении - во всех карманах десятки шпаргалок, а главное, на внутренней стороне форменного пояса, у самой бляхи, где подвернут конец ремня, переписаны самые сложные, не поддающиеся запоминанию формулы. Писал тушью - четко и ясно - достаточно запустить палец руки за пояс, высунуть конец его и, скосив глаза, переписать. Помню, у доски, пользуясь всеми этими атрибутами, принялся решать задачу. Все шло хорошо. Вдруг за спиной слышу иронический шепот директора училища Самецкого, пришедшего посмотреть на выпускные экзамены.

- Тонешь, Коляша?

- Нет, Рафаил Николаевич, все хорошо.

- А почему же ты за спасательный пояс держишься? - говорит добрый старик и, шаркая туфлями, выходит из класса.

Я оканчиваю задачу и тоже выхожу. В коридоре меня встречает ревущая толпа одноклассников:

- Ну, как? Что?

- Думаю, что пятерка, - отвечаю и пробираюсь из толпы, чтобы сообщить радостную весть дома. Но счастье было, как оказалось, коротко и надежды на благополучный исход преждевременны. Открылась дверь экзаменационной, и второй учитель математики - рослый, хлыщеватый поляк Казимир Владиславович - истошно кричит:

- Келин, назад! Идите сюда!

Я с душой в пятках возвращаюсь в класс и вижу Герштейна, что-то объясняющего комиссии.

- Послушайте, Келин, - обращается он ко мне. - Комиссия не может понять: как вы, плохо знающий математику, блестяще решили письменную и сейчас на пятерку сдали устно? Возьмите мел. Пишите.

Мне надиктовали новую задачу, которую я под пристальными взглядами нескольких церберов, конечно, не решил. Поставленная пятерка была переправлена на четверку, и так у меня в аттестате зрелости за исключением всех пятерок по остальным предметам остались две четверки по математике.

## Детство.

### отрывок из романа "Казачья исповедь" (часть 4)

Заканчивая воспоминания об училище, расскажу об одном памятном для меня случае, который, признаюсь, долго травмировал мою психику. Усть-Медведица была в 40 верстах от моей родной станицы Клетской. На все каникулы - летние, пасхальные и Рождественские - мы, конечно, перебирались туда, на место нашего безмятежного детства. Ехали или на санях по замерзшему Дону, или в тарантасе. Не помню точно, в каком я тогда был классе. Кажется, во втором. И вот на 6 января в станице - торжественное водосвятие. Съехалось много казаков из окрестных хуторов. Знаменская-то церковь в Клетской была удивительной красоты. Такой я не видел ни в одной из станиц Дона, даже в окружной Усть-Мед-ведицкой. Говорят, что архитектор перепутал планы и выстроил эту красавицу у нас, хотя она должна была украшать площадь какого-то города или одной из окружных станиц. Под пасхальную заутреню мой первый учитель Ефим Игнатьевич Фролов, большой затейник, с ватагой станичных мальчишек, как правило, украшал все карнизы церкви, чуть ли не до самых крестов, ярко горящими плошками. Для этого заранее заготавливали сало, фитили. Церковь светилась, как реющее в воздухе бесплотное видение, а с колокольни плыл

неповторимый, бархатный баритон огромного колокола, слышимого на 20 верст в округе. Помню, когда изумительный мастер своего дела Иван Курносос начинал трезвонить на шести колоколах нашей колокольни, то сладко замирало сердце, неописуемый восторг наполнял душу и хотелось или плакать от радости, или смеяться. Однажды я не выдержал переполнившего меня восторга при изумительном перезвоне колоколов на Пасху и пошел вприсядку. Присутствовавший при этом отец, сам натура очень чуткая, не понял меня и дал мне подзатыльник.

- Вот, болван! Там святая заутреня идет, а он пляшет... Так вот, началось водосвятие, торжественное и, как всегда, длинное. На дворе стоял лютый крещенский мороз. Я, помню, в новенькой шинели и сибирской мохнатой папахе, как тогда ходили, забрался на колокольню к самым колоколам, чтобы лучше видеть торжество, и устроился поудобней около одной из решеток. И вот, опершись подбородком о ту решетку, я ни с того ни с сего вдруг лизнул железную перекладину. Язык моментально примерз к железу. Пробую оторвать его силой - не получается. Скребу ногтями. А язык с каждым движением прилипает все больше и больше. Единственный способ освободиться - это поливать язык и железо водой. Но воды на колокольне нет, и я с глазами, полными ужаса, начинаю глухо мычать и отскребать язык от железа зубами. Кровь течет по подбородку, по моей новой щеголеватой шинели, и я наконец освобождаюсь.

С тех пор праздник Крещения был для меня самым тяжелым днем в году. Что еще добавить ко всему этому? Реальное училище я закончил блестяще и получил право на поступление во все высшие учебные заведения империи. Но уже шла первая мировая война, и вместо учебы я угодил на военную службу вольноопределяющимся. Дед нанял мне какого-то старого учителя семинарии, латиниста, который должен был за три месяца каникул натаскать меня на дополнительный экзамен по латыни, как это у нас часто делалось. Этот экзамен сдавался в учебном округе в Харькове. Я взял пару уроков, прозанимался месяц, потом плюнул на это дело и махнул в Клетскую.

Прежде чем перейти к описанию событий, изломавших мою жизнь, как, впрочем, и большинства моих соотечественников, расскажу о самом для меня дорогом - о медицине, о том, как я пришел к ней, как стал врачом. Еще когда мы жили в Клетской, в нашем старом доме, мальчонком, помню, забирался я в угол, где висели шубы, и наслаждался запахами йодоформа и карболки от приходившего к нам фельдшера. А во втором классе училища меня уже прозвали доктором, и вот по какому поводу. Был у нас в классе ученик Федя Долгов. Большого роста, статный. Парень хоть куда. Но вот беда - от рождения у него был поразительно красный нос. Это, конечно, мучило Федю. Любя беззаветно медицину, я часто проводил каникулы да и вообще свободное время в нашей земской больнице, помогая там в аптечке готовить мази и порошки, а позже даже удостоивался чести сидеть у стола в станичной амбулатории, когда фельдшер или знакомый врач принимали больных. Дома у меня был целый шкаф со всевозможными лекарствами, а вместо марок я собирал сигнатуры рецептов, как тогда делали в аптеках, когда выдавали лекарство: рецепт врача оставляли в аптеке, а копия на длинной бумажке - сигнатуре прикреплялась к выдаваемому лекарству. Из прочитанных медицинских учебников, которых у меня было полно (дед вместо подарков привозил), я знал, что йод вообще рассматривается как отвлекающее. Ну, раз у Федя нос красный, а йод отвлекающее, так легко помочь. Отвлечем покраснение внутрь. Я предложил Феде помощь, и он согласился.

Придя домой, я решил приготовить Феде мазь на нос. В аптечке была у меня баночка с кристаллическим йодом, из которого делаются настойки и мази. Подумал: настойка слишком банальна. Приготовлю мазь. Беру ланолин, вазелин и кристаллики йода. Утром передаю Долгову этот состав, советую сделать из бинта так называемый пращ и завязать нос на ночь.

На второй день иду в школу. Ищу Долгова, но его еще нет. И вот перед самым уроком вваливается Федя. У носа держит носовой платок и, подойдя ко мне, с размаху бьет меня по голове тяжелым ранцем.

- Погляди, что ты со мною сделал, дурак! - Он отнимает от носа платок - и класс покатывается от смеха. Вместо носа у Федя сплошное кровавое пятно: кожа слезла всюду, где ночью была приложена моя "целебная" мазь...

Таким образом Федя стал первым моим пациентом, а я получил на все время моего пребывания в реальном клечку "доктор". Простите мне это маленькое отступление, но без него не совсем ясен был бы мой дальнейший жизненный путь.

Приехав домой и сняв копии с документов, я сейчас же подал прошение в Императорский Лесной институт имени Павла I в Петрограде, а на всякий случай копию аттестата на экономическое отделение Петроградского Политехнического института имени Петра I. Туда принимали абсолютно всех, кто окончил среднюю школу. Почта в Клетскую приходила два раза в неделю: в среду и субботу. Возил ее на почтовых Яков Лавров, брат нашего аптекаря, из Усть-Медведицы. Приезжал вооруженный шашкой и револьвером, обложенный кожаными баулами. По этим дням у почты обычно ждала его целая толпа жителей станицы.

В один из вечеров я, обрадованный до слез, принес домой пакет с зеленой казенной печатью из Петрограда: приняли в Лесной институт! За ним вскоре пришел и пакет из Политехнического - тоже зачислили. Все, казалось, было бы в порядке, но вот почтмейстер привез толстый пакет с сургучной печатью и фирменной надписью Лесного института. Вскрываю тут же и с недоумением читаю: "Ввиду того что вы не прошли по конкурсу, возвращаем вам ваше прошение и аттестат зрелости". Теперь у меня на руках было два удостоверения - на одном написано, что я принят, а на втором, что нет. Иду, ошеломленный, домой. Вся семья в панике: 15 или 16 августа призыв в армию тех, кто не попал в высшую школу. Правда, у меня про запас есть еще удостоверение о приеме в Политехнический, но туда мне совершенно не хочется.



Рассвирепевший дед заявляет:

- Вот, мерзавцы! Наверное, чиновники на место нашего кого-нибудь из маменькиных сынков приняли. Завтра в четыре часа утра едем в Питер.

До станции Лог 60 верст, потом до Питера почти трое суток - и мы в канцелярии института. За столом перебирает бумаги какой-то циклоп - одноглазый чинуша с черной повязкой по лицу.

## Детство.

### отрывок из романа "Казачья исповедь"

#### (часть 5)

- Что изволите? - спрашивает у приготовившегося к бою деда.

- Вот ваше извещение о принятии моего внука в институт, - вкрадчиво начинает дед и протягивает бумажку. - Пожалуйста, покажите его документы.

- Но он же принят, и документы пока останутся у нас, - говорит циклоп, предчувствуя что-то неладное. Тогда дед, разъярившись, бросает ему мой аттестат, возвращенное прошение и извещение о том, что я не прошел по конкурсу. Что тут было - предоставляю вообразить себе читателю. На крик в канцелярию степенной походкой вошел грузный мужчина и, смотря через очки на ту сцену, тихо спросил:

- Господа! В чем дело? Что тут случилось?

Дед, обернувшись к нему, поинтересовался:

- А с кем имею честь? Кто вы такой?

- Я директор института Александр Петрович Фан дер Флит. Это был знаменитый профессор, который читал теорию корабля на кораблестроительном отделении Политехнического института и по совместительству исполнял обязанности директора Лесного. Подтянувшийся дед щелкнул каблуками, представился и неожиданно выпалил:

- Посмотрите, ваше превосходительство, что этот вот молодец у вас делает. Он думал, что мы, мол, глухая провинция, проглотим, но он забыл, что мы казаки! Я бы из него душу вытряс!

Директор все уладил и, глядя на расхोлившегося старого казака, приказал протелефонировать в Петроградское воинское присутствие, что такой-то является студентом института и освобождается от военной службы. С легким сердцем дед затем завел меня куда-то в Гостиный двор и купил два комплекта институтской формы. Одна пара была праздничной, вторая - для будней. Облачившись прямо в магазине в новую форму, я чувствовал себя именинником. Пришли на Пушкинскую в номера Пименова, где дед после смерти брата всегда останавливался. Это первая улица влево, если идти от бывшей Знаменской площади к Адмиралтейству, недалеко от памятника Пушкину. Сняли мы комнату во втором этаже. Я к этому времени уже начинал покуривать, конечно, в строжайшей тайне от деда, который, чтобы я не пристрастился к этой пагубной привычке, сам бросил курить. И вот сидим как-то в номере и закусьваем. Кто-то постучал.

- Войдите!

В дверях показывается лохматая фигура.

- Господин студент! Ради Бога, одолжите спички! - просит незнакомец.

Я вспыхнул, зная, что он встречал меня в коридоре с папиросой, и, вскочив, рванул вниз за спичками. Вскоре я вошел в узкую полутемную комнату, где у окна на столе в беспорядке были расставлены бутылки, закуска, разложенная на бумажках. В номере было сизо от дыма. На полу валялись книги, а за столом сидели еще два субъекта.

- Познакомимся! - говорит тот, кому я бегал за спичками. - Александр Грин. Пишу, видите ли... А вот он, - показывает на соседа, - лучший поэт России...

Это был Блок.

- Садитесь и берите рюмку! За ваше здоровье! И так мы сидели, пока бутылка не оказалась пустой.

Тогда Грин встал, взял одну или две свои книги, как сейчас помню, в зеленых обложках и, спросив мою фамилию, размашисто надписал: "Моему молодому другу на память. А. Грин". Но этим, к сожалению, дело не кончилось. По-видимому, ни у Грина, ни у Блока в данный момент не было денег, а попойке предстояло продолжиться. Тогда Грин решительно заявил:

- А теперь вы, молодой человек, сбегайте за водкой! Я совершенно растерялся и говорю:

- Но у меня нет денег! На это Грин:

- А зачем вам тужурка и рубаха? Тужурку сейчас продадим! Ошарашенный и вконец растерянный, я сорвался со стула и вылетел из комнаты. Так состоялось и окончилось мое мимолетное знакомство с замечательным русским писателем Грином и гениальным Блоком. На своем жизненном пути я встречался с чопорным и надутым Буниным и с суматошной, но оригинальной писательницей Мариеттой Шагинян. Обе встречи произошли в Праге, но эта встреча в Петрограде с Грином и Блоком почему-то особенно остро запала мне в память.

С легким сердцем мы возвратились домой в станицу, где бабка обмерла от радости, узрев меня в невиданной форме. Но недолго я пробыл в любимой станице, покупался в батюшке-Дону. В одну из наших рыбалок с моими станишными друзьями в июле 1914-го от сестер, пришедших к Дону навестить нас, я узнал о начавшейся мировой войне. Тогда я проделал от восторга воинственный танец, и, помню, от страха у меня

сжалось сердце при мелькнувшей мысли: как бы эта война не окончилась раньше, чем я на нее попаду... Судьба решила иначе. Приближалось начало занятий в институте, и вскоре я отправился в путь. Провожая меня, дед посуровел и, глядя в глаза, сказал:

- Смотри, Коля, будь осторожен. Не запутайся там... Помни - на большую дорогу тебя посылаю! Ты будешь первым в нашем роду, кому посчастливилось пойти в высшую школу. Вот окончишь, тогда делай что хочешь - твое дело.

Так я расстался со станицей и юностью и вышел в широкий неласковый свет. В Петрограде я поселился в Лесном, где-то у Серебряных прудов на 2-м Муринском. Жил в комнатухе один, но скоро перебрался в огромную, вечно студеную комнату, к своим приятелям. Из них в памяти остался только наш усть-медведицкий Сашка Крюков, поджарый, с хрящевитым носом казак, которому дед регулярно присылал из станицы по копейкам собранные три рубля и который почему-то этого стыдился.

В институте я появлялся только на лекциях и практических занятиях по предметам, общим с медицинским факультетом, больше околачивался около Военно-медицинской академии на Выборгской стороне и, конечно, у студентов-медиков. А война шла. По городу ползли зловещие слухи о выходках сибирского мужика при императорском дворе. Газеты были полны сенсаций. С фронта поступали тревожные слухи о том, что в кровопролитных боях выбили почти весь кадровый офицерский состав, что царь, по совету английского посла Бьюкенена, отослал гвардейские полки, охраняющие трон и столицу на фронт, - чтобы они овевали свои гвардейские знамена боевым, пороховым дымом. И что их там пустили в лобовые атаки на пулеметы и колючую проволоку, а в столицу якобы вернулись только овеванные пороховым знаменами - гвардейцев повыбили. Поговаривали, что это хорошо, так как в состав гвардейских полков при пополнении легко вольются революционные элементы. Недалекое будущее это подтвердило.

В Петрограде жила семья Михеевых, куда я хаживал очень часто. Там меня, неотесанного, степного мальчишку, учили светским манерам. Семья состояла из пожилой дамы и ее сына, студента-кораблестроителя. Муж этой дамы, полковник артиллерии, сошелся с подругой моей матери модисткой Еленой Одинцовой, а сына Митю и жену бросил. Они постоянно жили в Питере, а Андрей Степанович в Усть-Медведицкой, где я с ним часто встречался. Его брат, генерал от кавалерии Александр Степанович Михеев, в бытность свою наказным атаманом Терского войска ловил знаменитого на Кавказе Зелим-Хана, а впоследствии был назначен или в Сенат, или в Государственный совет. Раз или два по дороге в Петербург он заезжал к нам в Клетскую, останавливался у нас и вел с дедом долгие беседы. Единственный сын этого сенатора был флигель-адъютантом последнего царя.

Приблизительно через месяц после приезда в Питер я решил попытаться, используя свои новые знакомства, попасть в Военно-медицинскую академию. Поговорил с флигель-адъютантом, и он дал мне письмо к лейб-медику Двора Ивану Павловичу Жегалову, который снабдил меня рекомендацией к начальнику академии генерал-майору Маковееву. Написав прошение и захватив рекомендательное письмо, бодро являюсь в академию. В вестибюле - ливрейный цербер. Спрашиваю:

- Могу к начальнику?

- Нет! Сегодня нет приема.

Тогда, подавая ему письмо Жегалова и широко улыбаясь, выпаливаю:

- Передайте - я от лейб-медика Двора.

Картина моментально меняется: швейцар щелкает каблуками, почтительно берет письмо, и через минуту я вхожу в кабинет начальника академии. Маковеев, рыжеватый, плотный старик, стоит против меня за конторкой и смотрит через очки, сдвинутые на кончик носа.

- Ну-с, что скажете, молодой человек? Вы знакомы с Иваном Павловичем? - спрашивает он внимательно, как-то по-бычьему рассматривая меня.

- Да, знаком. Я прошу ваше превосходительство принять меня в число слушателей Военно-медицинской академии. Моя заветная мечта! - выпаливаю я.

- А латынь?

- Латынь сдам в течение года, ваше превосходительство!

- Хорошо. Вы приняты. Заказывайте форму и приходите на лекции, - и кладет резолюцию на моем прошении. - Но предупреждаю, если вы не сдадите латынь до Рождества, то я отправлю вас рядовым на фронт! Рекомендую вам остаться в этом году в Лесном, тем более что на первом курсе предметы общие, за исключением разве анатомии. Сдадите там и латынь...

Мысли скачут - прикидываю туда, сюда и соглашаюсь с Маковеевым. А при выходе в коридор меня догоняет присутствовавший при разговоре делопроизводитель и огорчительно говорит:

- Ну и глупость же вы спорили, господин студент! Ну какая же там латынь, если вы придете на экзамены в форме академии? Это же пустая формальность! Я растерялся и хотел вернуться обратно к начальнику, а делопроизводитель, улыбаясь, добавил:

- Решение менять неудобно, молодой человек. Так-то. Нужно было сразу соображать.

Проженный в столичных интригах чинуша, по-видимому, не знал, что сын Донских степей делает только первые, неуверенные шаги в своих жизненных университетах...

Но вот пришла весна, и меня неудержимо потянуло на простор, в наши лазоревые степи. К тому же упорно начали поговаривать, что правительство вынуждено будет призвать студентов в армию, в военные



школы, чтобы пополнить офицерские кадры. Разумеется, я не стал ждать - написал прошение, взял аттестат и махнул прямо к начальнику артиллерийского училища. А дня через два поезд мчал меня на родимый Дон.